

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ОДОЕВСКИЙ

Живой мертвец
и другие таинственные истории



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Владимир Одоевский
Живой мертвец и другие
таинственные истории
Серия «Русская классика (АСТ)»

<https://litres.ru/73405118>

*Живой мертвец и другие таинственные истории:
ISBN 978-5-17-184037-2*

Аннотация

В это издание вошли избранные повести и рассказы В. Ф. Одоевского – мистические и ироничные «Пестрые сказки», сентиментальные «Княжна Мими» и «Княжна Зизи», фантастические и таинственные «Привидение», «Черная Перчатка», «Живой мертвец» и другие.

Содержание

Пестрые сказки	5
От издателя	5
Предисловие сочинителя	9
Реторта	12
Глава I	12
Глава II	18
Глава III	21
Глава IV	23
Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем	28
Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко	43
Конец ознакомительного фрагмента.	51

**Владимир Федорович
Одоевский
Живой мертвец и другие
таинственные истории**

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Пестрые сказки

*Какова история. В иной залетишь за тридевять
земель в тридешатое царство.
Фонвизин в «Недоросле»*

От издателя

Когда почтенный Ириней Модестович Гомозейко, магистр философии и член разных ученых обществ, сообщил мне о своем желании напечатать сочиненные или собранные им сказки, — я старался сколь возможно отвратить его от сего намерения; представлял ему, как неприлично человеку в его звании заниматься подобными рассказами; как, с другой стороны, они много потеряют при сравнении с теми прекрасными историческими повестями и романами, которыми с некоторого времени сочинители начали дарить русскую публику; я представлял ему, что для одних читателей его сказки покажутся слишком странными, для других слишком обыкновенными, а иные без всякого недоумения назовут их странными и обыкновенными вместе; самое заглавие его книги мне не нравилось; меня не тронули даже и ободрения, которыми журналы удостоили сказку Ириней Модестовича, напечатанную им для опыта, под именем *Глинско-*

20, в одном из альманахов. Но когда Ириней Модестович со слезами в глазах обратил мое внимание на свой пришедший в пепельное состояние фрак, в котором ему уже нельзя более казаться в свете, – единственное средство, по мнению Ириней Модестовича, для сохранения своей репутации – когда он трогательным голосом рассказал мне о своем непреодолимом желании купить по случаю продающуюся редкую книгу: Joannes ab Indagine Introductiones apotelesmaticae in astrologiam naturalem¹, а равно и Les oeuvres de Jean Belot, Curé de Milmonts, professeur ès sciences divines et celestes, contenant la chiromancie, physiognomie, traité de divinations, augures et songes, les sciences steganographiques, paulines, armadellest et lullistes; Tart de doctement precher et haranguer etc², тогда все мои сомнения исчезли, я взял рукопись почтенного Ириней Модестовича и решился издать ее.

Смею надеяться, что и читатели разделят мое снисхождение, тем более что оно может ободрить Ириней Модестовича к окончанию его собственной биографии, а равно и исторических изысканий об «Искусстве оставаться назади», сочи-

¹ Joannes ab Indagine ~ naturalem (лат.) – «Основания натуральной астрологии» Иоанна из Хагена (ум. в 1475 г.), картузианского монаха, жившего в Эрфурте и Эйзенахе, автора богословских, философских и оккультных сочинений. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, прим. ред.)

² Les oeuvres de Jean Belot ~ de doctement precher et haranguer etc. (фр.) – Сочинения Жана Бело, кюре Мильмонта, профессора наук божественных и небесных, содержащие хиромантию, физиогномику, трактат о пророчествах, прорицателях и снах, науках стеганографов, полинистов, армаделлей и луллистов; искусство правильно молиться и проповедовать и т. д. (Paris, 1649).

нение, которое, несмотря на недельное направление, данное ему автором, содержит в себе, по моему мнению, поучительные примеры, ясно показывающие, чего в сем случае надлежит избегать, и следственно весьма полезные для практики.

Еще одно замечание: почтенный Ириней Модестович, несмотря на всю свою скромность и боязливость, потребовал от меня, чтобы я в издаваемой мною книге сохранил его собственное правописание, особенно же относительно знаков препинания. Надобно знать, что Ириней Модестович весьма сердится за нашу роскошь на запятые и скупость на точки: он не может понять, зачем, вопреки дельным замечаниям знающих людей, у нас перед каждым *что* и *который* ставится запятая, а перед *но* точка с запятой). Вообще Ириней Модестович предполагает, что книги пишутся для того, дабы они читались, а знаки препинания употребляются в оных для того, дабы сделать написанное понятным читателю; а между тем, по его мнению, у нас знаки препинания расставляются как будто нарочно для того, чтобы книгу нельзя было читать с первого раза – *prima vista*³, как говорят музыканты; для избежания сего недостатка Ириней Модестович старается наблюдать между знаками препинания (,—,—;.) логическую иерархию; для сей же причины он осмелился занять у испанцев оборотный вопросительный знак, который ставится в начале периода для означения, что оному при чтении

³ *Prima vista* (итал., букв.: «первый взгляд») – музыкальный термин, означающий исполнение произведения с листа, без подготовки.

должно дать тон вопроса. О сем пусть рассудят читатели, а люди, более меня занимавшиеся сим делом, потолкуют.

Нужным считаю присовокупить, что я на себя же взял издание давно обещанного «Дома сумасшедших»; сочинение, которое, впрочем, сказать правду, гораздо больше обещает, нежели сколько оно есть в самом деле.

В. Безгласный

Предисловие сочинителя

Почтеннейший читатель!

Прежде всего я долгом считаю признаться вам, милостивый государь, в моей несчастной слабости... Что делать? у всякого свой грех, и надобно быть снисходительным к ближнему; это, как вы знаете, истина неоспоримая; одна из всех истин, которые когда-либо добивались чести угодить роду человеческому; одна, дослужившаяся до аксиомы; одна, по какому-то чуду уцелевшая от набега южных варваров 18 века, как одинокий крест на просторном кладбище. Итак, узнайте мой недостаток, мое злополучие, вечное пятно моей фамилии, как говорила покойная бабушка, – я, почтенный читатель, я из ученых, то есть, к несчастью, не из тех ученых, о которых говорил Паскаль, что они ничего не читают, пишут мало и ползают много, – нет! я просто пустой ученый, то есть знаю все возможные языки: живые, мертвые и полумертвые; знаю все науки, которые преподаются и не преподаются на всех европейских кафедрах; могу спорить о всех предметах, мне известных и неизвестных, а пуще всего люблю себе ломать голову над началом вещей и прочими тому подобными нехлебными предметами.

После сего можете себе представить, какую я жалкую ролью играю в сем свете. Правда, для поправления моей несчастной репутации я стараюсь втиснуться во все известные

домы; не пропускаю ничьих именин, ни рожденья и показываю свою фигуру на балах и раутах; но, к несчастью, я не танцую, не играю ни по пяти, ни по пятидесяти; не мастер ни очищать нумера, ни подслушивать городские новости, ни даже говорить об этих предметах; чрез мое посредство нельзя добыть ни места, ни чина, ни выведать какую-нибудь канцелярскую тайну... Когда вы где-нибудь в уголку гостиной встретите маленького человечка, худенького, низенького, в черном фраке, очень чистенького, с приглаженными волосами, у которого на лице написано: «Бога ради оставьте меня в покое», — и который ради сей причины, заложа пальцы по квартирам, кланяется всякому с глубочайшим почтением, старается заговорить то с тем, то с другим или с благоговением рассматривает глубокомысленное выражение на лицах почтенных старцев, сидящих за картами, и с участием расспрашивает о выигрыше и проигрыше, словом, всячески старается показать, что он также человек порядочный и ничего дельного на сем свете не делает; который между тем боится протягивать свою руку знакомому, чтобы знакомый в рассеянности не отвернулся, — это я, милостивый государь, я — ваш покорнейший слуга.

Представьте себе мое страдание! Мне, издержавшему всю свою душу на чувства, обремененному многочисленным семейством мыслей, удрученному основательностию своих познаний, — мне очень хочется иногда поблистать ими в обществе; но только что разину рот — явится какой-нибудь моло-

дец с усами, затянутый, перетянутый, и перебьет мою речь замечаниями о состоянии температуры в комнатах или какой почтенный муж привлечет общее внимание рассказом о тех непостижимых обстоятельствах, которые сопровождали проигранный им большой шлем; между тем вечер проходит, и я ухожу домой с запекшимися устами.

В сем затруднительном положении я заблагорассудил обратиться к вам, почтенный читатель, ибо, говоря без лести, я знаю, что вы человек милый и образованный и притом не имеете никакого средства заставить меня замолчать; читайте, не читайте, закройте или раскройте книгу, а все-таки печатные буквы говорить не перестанут. Итак, волею или неволею слушайте: а если вам рассказ мой понравится, то мне мыслей не занимать стать, я с вами буду говорить до скончания века.

Реторта

Реторта – cornue – retorte – сосуд перегонный; род бутыли с круглым дном в виде груши с длинной шейкою...

Слов. хим. (ч. 3, с. 260)

...Положи амальгаму в круглый стеклянный сосуд; закупорь его и поставь в золу, потом на легкий жар, прибавляя жару, пока сосуд совсем не раскалится, то ты увидишь все цветы, какие только на свете находятся...

Исаак Голланд в книге о «Руке философов» (с. 54)

Глава I Введение

В старину были странные науки, которыми занимались странные люди. Этих людей прежде боялись и уважали; потом жгли и уважали; потом перестали бояться, но все-таки уважали; нам одним пришло в голову и не бояться, и не уважать их. И подлинно, – мы на это имеем полное право! Эти люди занимались – чем вы думаете? они отыскивали для тела такое лекарство, которое бы исцеляло все болезни; для общества такое состояние, в котором бы каждый из членов благоденствовал; для природы – такой язык, которого бы слу-

шался и камень, и птица, и все элементы; они мечтали о вечном мире, о внутреннем ненарушимом спокойствии царств, о высоком смирении духа! Широкое было поле для воображения; оно обхватывало и землю и небо, и жизнь и смерть, и таинство творения и таинство разрушения; оно залетало за тридевять земель в тридесятое царство, и из этого путешествия приносило такие вещи, которые ни больше, ни меньше, как переменили платье на всем роде человеческом; такие вещи, которые – не знаю, отчего – ныне как будто не встречаются, или все наши открытия разнеслись колесами паровой машины.

Не будем говорить о величественной древности: увы! она посоловела от старости; вы поверите на слово, что она мне известна лучше, нежели адрес-календарь какому-нибудь директору департамента, и что я бы мог легко описанием оной наполнить целую книгу; нет, мы вспомним недавнее.

Знаете ли, милостивый государь, что было время, когда все произведения природы годились только тогда, когда природа их производила; цветы весною, плоды осенью; а зимою – ни цветочка... Не правда ли, что это было очень скучно? Нашелся монах, по имени Алберт; он предвидел, как для нас необходимо будет зимою устилать цветами стены передних и лестниц, и нашел средство помочь этому горю – и нашел его так, между делом, потому что он в это время занимался очень важным предметом: он искал средства сотворять цветы, плоды и прочие произведения природы, не исключая да-

же и человека.

Было время, когда люди на поединке бесились, выходили из себя, в этом преступном состоянии духа отправлялись на тот свет и без покаяния, дрожа, кусая губы, с шапкою набекрень являлись пред лицо Миноса; монах Бакон положил селитры с углем в тигель, поставил в печь вместе с другими приготовлениями для философского камня и нашел хладнокровный порох, посредством которого вы можете – не сердясь, перекрестившись, помолившись и в самом спокойном и веселом расположении духа – положить перед собою навзничь своего противника или сами разом протянуться, что не менее производит удовольствия.

Было время, когда не существовало – как бы назвать его? (мы дали этому снадобью такое имя, от которого может пропахнуть моя книга и привлечь внимание какого-нибудь рыцаря Веселого образа, чего мне совсем не хочется) – когда не существовало то – то, без чего бы вам, любезный читатель, нечего было налить на вашу курильницу; старинному щеголю на свой платок и на самого себя; без чего нельзя бы сохранять уродов в Кунсткамере; нечем было бы русскому человеку развеселить свое сердце; словом, то, что новые латинцы и французы называли *водою жизни*. Вообразите себе, какую переборку должно было произвести в это время открытие Арнольда де Виллановы, когда он пустил по миру алкоголь, собирая в тыкву разные припасы для сотворения человека по своему образу и подобию.

Скажите, кого бы уморила нынешняя медицина, если бы господин Бомбастус Парацельзий не вздумал открыть приготовления минеральных лекарств? Что бы стали читать наши почтенные родители, если бы Брюс не написал своего календаря? Если бы Василий Валентин...

Но, впрочем, это долгая история; всех не переберешь, а только вам наскучишь. Дело в том, что все открытия тех времен производили такое же обширное влияние на человечество, какое бы ныне могло произвести соединение паровой машины с воздушным шаром, — открытие, мимоходом будь сказано, которое поднялось было, да и засело и, словно виноград, не дается нашему веку.

Неужели в самом деле все эти открытия были случайные? Разве автомат Алберта Великого не требовал глубоких механических соображений? Разве antimonium Василия Валентина и открытия Парацельзия не предполагают глубоких химических сведений? Разве Ars magna Раймонда Луллия могло выйти из головы, не привыкшей к трудным философским исчислениям; разве, разве... Да если бы эти открытия и были случайные, то зачем эти случаи не случаются ныне, когда не сотня монахов, разбросанных по монастырям между дюжиною рукописей и костром инквизиции, а тысячи ученых, окруженных словарями, машинами, на мягких креслах, в крестах, чинах и на хорошем жалованьи, трудятся, пишут, вычисляют, вытягивают, вымеривают природу и беспрестанно сообщают друг другу свои обмерки? Какое из их много-

численных открытий может похвалиться, что оно столько же радости наделало на земном шаре, как открытия Арнольда де Виллановы с компаниею?

А кажется, мы смышленнее наших предков: мы обрезали крылья у воображения; мы составили для всего системы, таблицы; мы назначили предел, за который не должен переходить ум человеческий; мы определили, чем можно и должно заниматься, так что теперь ему уж не нужно терять времени по-пустому и бросаться в страну заблуждений.

Но не в этом ли беда наша? Не оттого ли, что предки наши давали больше воли своему воображению, не оттого ли и мысли их были шире наших и, обхватывая большее пространство в пустыне бесконечного, открывали то, чего нам век не открыть в нашем мышином горизонте.

Правда, нам и некогда; мы занимаемся гораздо важнейшими делами: мы составляем системы для общественного благоденствия, посредством которых целое общество благоденствует, а каждый из членов страдает – словно медик, который бы облепил все тело больного шпанскими мухами и стал его уверять, что от того происходит его внутреннее здоровье; мы составляем статистические таблицы – посредством которых находим, что в одной стороне, с увеличением просвещения, уменьшаются преступления, а в другой увеличиваются, – и в недоумении ломаем голову над этим очень трудным вопросом; составляем рамку нравственной философии для особенного рода существ, которые называются

образами без лиц, и стараемся подтянуть под нее все лица с маленькими, средними и большими носами; мы отыскиваем средства, как бы провести целый день, не пропустив себе ни одной мысли в голову, ни одного чувства в сердце; как бы обойтись без любви, без веры, без думанья, не двигаясь с места; словом, без всей этой фланели, от которой неловко, шерстит, беспокоит; мы ищем способа обделать так нашу жизнь, чтобы ее историю приняли на том свете за расходную книгу церковного старосты – [тому свечку, другому свечку] – и должно признаться, что во всем этом мы довольно успели; а в медицине? мы трудились, трудились – и открыли газы, и, заметьте, в то самое время, когда химик Беккер убил алхимию, – разобрали все металлы и соли по порядку; соединяли, соединяли, разлагали, разлагали; нашли железисто-синеродный потассий, положили его в тигель, расплавили, истолкли в порошок, прилили водохлорной кислоты, пропустили сквозь сухой хлористый кальций и проч., и проч. – сколько работы! – и после всех этих трудов мы добыли наконец прелюбезную жидкость с прекрасным запахом горького миндаля, которую ученые называют водосинеродною кислотою, *acide hydrocyanique*, *acidum borussicum*, а другие *acide prussique*, но которая во всяком случае гасит человека разом, духом – как свечу, опущенную в мефитический воздух; мы даем эту жидкость нашим больным во всяких болезнях и нимало не жалеем, когда больные не выздоравливают...

Этими-то, некогда знаменитыми науками, а именно: аст-

рологических, хиромантических, парфеномантических, онеиромантических, каббалистических, магических и проч., и проч... я задумал, милостивый государь, заниматься, и нахожусь в твердой уверенности, что когда-нибудь сделаю открытие вроде Арнольда Виллановы! – и теперь, хотя я еще недалеко ушел в сих науках, но уж сделал весьма важное наблюдение: я узнал, какую важную роль играет на свете философская калцинация, сублимация и дистилляция.

Я расскажу вам, любезный читатель, если вы до сих пор имели терпение продраться сквозь тернистую стезю моей необъятной учености, – я расскажу вам случившееся со мной происшествие и – поверьте мне – расскажу вам сущую правду, не прибавляя от себя ни одного слова; расскажу вам то, что видел, видел, своими глазами видел...

Глава II

Каким образом сочинитель узнал, от чего в гостиных бывает душно

Я был на бале; бал был прекрасный; пропасть карточных столов, еще больше людей, еще больше свечей, а еще больше конфет и мороженого. На бале было очень весело и живо; все были заняты: музыканты играли, игроки также, дамы искали, девушки не находили кавалеров, кавалеры прятались от дам: одни гонялись за партнерами, другие кочевали из комнаты в комнату; иные сходились в кружок, сооб-

щали друг другу собранные ими замечания о температуре воздуха и расходились; словом, у всякого было свое занятие, а между тем теснота и духота такая, что все были вне себя от восхищения. Я также был занят: к чрезвычайному моему удивлению и радости, от тесноты – или так, по случаю, – мне удалось прижать к углу какого-то господина, который только что проиграл 12 робертов⁴ сряду; и я в утешение принялся рассказывать ему: о походе Наполеона в 1812 году, об убийстве Димитрия царевича, о монументе Минину и Пожарскому, и говорил так красноречиво, что у моего слушателя от удовольствия сделались судороги и глаза его невольно стали поворачиваться со стороны на сторону; ободренный успехом, я готов уже был приступить к разбору Несторовой летописи, когда к нам приблизился почтенный старец: высокого роста, полный, но бледный, в синем фраке, с впалыми глазами, с величественным на лице выражением, – приблизился, схватил моего товарища за руку и тихо, таинственным голосом произнес: «Вы играете по пятидесяти?» Едва он произнес эти слова, как и старец в синем фраке, и мой товарищ исчезли, – а я было только завел речь о том, что Нестор списал свою летопись у Григория Арматола... Я обернулся и удивленными глазами спрашивал у окружающих объяснения сего странного происшествия...

«Как вам не совестно было, – сказал мне кто-то, – дер-

⁴ Роберт (роббер) – так называют три сыгранные партии в вист, составляющие один круг игры, после которого производится денежный расчет.

жать столько времени этого несчастного? Он искал партнера отыграться, а вы ему целый час мешали...»

Я покраснел от досады, но скоро утешил мое самолюбие, рассудив, что слова таинственного человека были не иное что, как лозунг какого-нибудь тайного общества, к которому, вероятно, принадлежал и мой приятель; признаюсь, что это открытие меня нимало не порадовало, и я, размышляя, как бы мне выпутаться из беды, и задыхаясь от жара, подошел к форточке, которую благодетельный хозяин приказал отворить прямо против растанцовавшихся дам...

К чрезвычайному моему удивлению, из отворенной форточки не шел свежий воздух, а между тем на дворе было 20 градусов мороза, – кто это мог знать лучше меня, меня, который пробежал пешком из Коломны до Невского проспекта в одних башмаках? Я вознамерился разрешить этот вопрос, вытянул шею, заглянул в форточку, смотрю: что за нею светится, – огонь не огонь, зеркало не зеркало; я призвал на помощь все мои кабалистические знания, ну исчислять, расчислять, допытываться – и что же я увидел? за форточкою было выгнутое стекло, которого края, продолжаясь и вверх, и вниз, терялись из глаз; я тотчас догадался, что тут кто-то чудесит над нами; вышел в двери – то же стекло у меня перед глазами; обошел кругом всего дома, высматривал, выглядывал и открыл – что бы вы думали? – что какой-то проказник посадил весь дом, мебели, шандалы⁵, карточные столы

⁵ Шандал – устаревшее слово, которое означает тяжелый подсвечник, обычно

и всю почтенную публику, и меня с нею вместе в стеклянную реторту с выгнутым носом! Это мне показалось довольно любопытно. Желая узнать, чем кончится эта проказа, я воспользовался тою минутою, когда кавалеры с дамами задремали в мазурке, вылез в форточку и осторожно спустился – на дно реторты; тут-то я узнал, от чего в гостиной было так душно! проклятый химик подвел под нас лампу и без всякого милосердия дистиллировал почтенную публику!..

Глава III

Что происходило с сочинителем, когда он попался в реторту

Долго я размышлял над сим удивительным явлением, а между тем можете себе представить, почтенный читатель, каково мне было на дне реторты, над самым жаром, – мой новый, прекрасный черный фрак начал сжиматься и слетать с меня пылью; мой чистый, тонкий батистовый галстук pokrылся сажею; башмаки прогорели; вся кожа на теле сморщилась, и самого меня так покорибило, что я сделался вдвое меньше; наконец, от волос пошел дым; мозг закипел в черепе и ну выскакивать из глаз в виде маленьких пузырьков, которые лопались на воздухе; не стало мне силы терпеть эту калцинацию; возвратиться опять в комнаты уродом было бы

слишком обидно для моей чистоплотной репутации; к тому же мне хотелось узнать: зачем дистиллируют почтенную публику? — вот я и решился пробраться к узкому горлу реторты; с трудом я докарабкался до него, уперся ногами и увидел сквозь тонкое стекло — кого вы думаете? Соображая в уме древние предания, я ожидал, что увижу самого господина Луцифера с большими рогами, с длинным хвостом и растянутою харею; или хотя злобного старика, с насмешливою миною, в парике, с кошельком, в сером французском кафтане и в красном плаще; или по крайней мере Мефистофеля в гишпанском костюме; или, наконец, хотя одного из тех любезных молодых людей, которых злодеи французы так хорошо рисуют на виньетках к своим романам, — в модном фраке, с большими бакенбардами, с двойным лорнетом. Нет, милостивые государи, над почтеннейшею публикою потешался — стыд сказать, — потешалось дитя; по нашему говоря, лет пяти; в маленькой курточке; без галстука; с кислую миною, с крошечными рожками и с маленьким, только что показавшимся хвостиком!..

Не обидно ли это?

Уж старые черти не удостоивают и внимания наш 19 век!
Отдают его на потеху чертенятам!

Вот до чего мы дожили с нашей паровою машиною, альманахами, атомистическою химиею, пиявками, благоразумием наших дам, английскою философиєю, общипанными фраками, французскою верою и с уставом благочиния наших го-

стиных. Досада взяла меня: я решился, призывая на помощь кабалистов всех веков и всего мира, отмстить за наш 19 век, проучить негодного мальчишку и с сим великодушным намерением сквозь узкое горло выскочил из реторты...

Глава IV

Каким образом сочинитель попал в латинский словарь и что он в нем увидел

«Суета, суета все замыслы человеческие», – говорит, – кто, бишь, говорит? – да я говорю, – не в том сила. Уж сколько лет умышляются люди, как бы на сем свете жизнь пожить, а суету в отставку выкинуть; так нет, не дается; ведь, кажется, суета не важный чиновник, а и под него умные люди умеют подкапываться. Живешь, живешь, нарахтишься, нарахтишься, жить – не живешь, смерти не знаешь, умрешь – и что же останется? сказать стыдно. Неужели только? Так эти все прекрасные слова: любовь, добро, ум, все это шутка? Нет, господа, извините; уж если кто ошибся, так скорее люди, нежели кто другой. Дело-то в том, кажется, что люди так же принимаются за жизнь, как я за средство выбраться из реторты: ищем, как бы полегче; ан не тут-то было!..

Едва я показал нос из реторты, как сатаненок стиснул меня в шипцы, которыми обыкновенно энтомологи ловят мошек; потом хватъ меня за уши да и сунь в претолстый латинский словарь – ибо, вероятно, известно почтеннейшему чи-

тателю, что с тех пор, как некоторые черти, сидя в беснующихся, ошиблись, разговаривая по-латыни, – Луцифер строго приказал чертям основательно учиться латинскому языку; а черти – словно люди – учиться не учатся, а все-таки носятся с букварями.

Между тем мне было совсем не до латыни; проклятый дьяволенок так меня приплюснул, что во мне все косточки затрещали. Притом вообразите себе: в словаре холодно, темно, пахнет клеем, плеснью, чернилами, юфтью, нитками режет лицо, бока ломает о типографские буквы; признаюсь, что я призадумался. Долго не знал, что мне делать и что со мною будет, – горе меня взяло: еще никогда на сем свете мне так тесно не приходилось.

К счастью, латинский словарь был переплетен на английский манер, то есть с срезанным задком, – от этого нитки прорвали листы, листы распустились и между ними сделались довольно большие отверстия... вот ведь я знаю, что делаю, когда крепко-накрепко запрещаю переплетчику срезать задки у моих книг, нет хуже этого переплета – между листов всегда может кто-нибудь прорваться.

Пользуясь невежеством чертей в переплетном деле, я ну поворачиваться со стороны на сторону и головою, словно шилом, увеличивать отверстие между листами, и наконец, к величайшему моему удовольствию, я достиг до того, что мог просунуть в отверстие голову. Едва удалось мне это сделать, как, не теряя бодрости, – ибо, издавна обращаясь с нечи-

стою силою, чертей гораздо меньше боюсь, нежели людей, — я громким голосом закричал сатаненку:

— Молод еще, брат, потешаться над почтенною публикою — еще у тебя ус не пробило...

— Да уж хороша и потеха, — отвечал негодный мальчишка, — в других местах я-таки кое-что набрал, а у вас в гостиных льдины, что ли, сидят? кажется, у вас и светло, и тепло, и пропасть свечей, и пропасть людей, а что ж на поверку? день-деньской вас варишь, варишь, жаришь, жаришь, а много-много что выскочит из реторты — наш же брат чертененок, не вытерпевший вашей скуки. Хоть бы попалась из гостинной какая-нибудь закружившаяся бабочка! и того нет, только и радости, что валит из реторты копоть да вода, вода да копоть, — индо тошно стало.

Я оставил без ответа слова дерзкого мальчишки, хотя бы мог отвечать ему сильно и убедительно, и в этом случае — виноват — поступил по чувству эгоизма, которым, вероятно, я заразился в гостинной: я заметил, что сатаненок, по обычаю всех ленивых мальчишек, наverts указкою пропасть дыр на словаре; я тотчас расчел, что мне в них будет гораздо удобнее пролезть, нежели в отверстие, оставшееся между листами, и тотчас я принялся за работу и ну протираться из страницы в страницу.

Сие многотрудное путешествие, которое можно сравнить разве с путешествиями капитана Парри между льдинами океана, было мне не бесполезно; на дороге я встретился с

пауком, мертвым телом, колпаком, Игошею и другими любезными молодыми людьми, которых проклятый бесенок собрал со всех сторон света и заставлял разделять мою участь. Многие из этих господ от долгого пребывания в словаре так облепились словами, что начали превращаться в сказки. иной еще сохранял свой прежний образ; другой совсем превратился в печатную статью; а некоторые из них были ни то ни се: получеловек, полусказка...

Поверив друг другу свои происшествия, мы стали рассуждать о средствах избавиться от нашего заточения; я представил сотоварищам план, весьма благоразумный, а именно: пробираясь сквозь дыры, наверхенные указкою, из страницы в страницу, поискать, не найдем ли подобного отверстия и в переплете, сквозь который можно было бы также пробраться тихомолком?

Но представьте себе мой ужас и удивление, когда, пока мы говорили, я почувствовал, что сам начинаю превращаться в сказку: глаза мои обратились в эпиграф, из головы понаделалось несколько глав, туловище сделалось текстом, а ногти и волосы заступили место ошибок против языка и опечаток, необходимой принадлежности ко всякой книге...

К счастью, в это время бал кончился, и гости, разъезжаясь, разбили реторту; сатаненок испугался и, схватя словарь под мышку, побежал помочь своему горю; но второпях выронил несколько листов своей дурно переплетенной книги, а с листами некоторых из своих узников – в числе коих на-

ходилась и ваш покорный слуга, почтенный читатель!

На чистом воздухе я употребил все известные мне магические способы, необходимые для того, чтобы опять обратиться в человека, — не знаю, до какой степени удалось мне это; но едва я отлепился от бумаги, едва отер с себя типографские чернила, как почувствовал человеческую натуру: схватил оброненных сатаненком моих товарищей, лежавших на земле, и, вместо того, чтобы помочь им, рассчитал, что гораздо для меня будет полезнее свернуть их в комок, запрягать в карман и, наконец — представить их на благорассмотрение почтенного читателя...

Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем

Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех.

Рудый Панько в «Вечерах на хуторе»

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташино тож, 21-го минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядиной; на голове картуз из старых пестрядинных тряпиц с кожаным козырьком; от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светло-рус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложения слабого. По чему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца одного тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где

и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили б уведомить в оное же село Морковкино».

Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклети, находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для утешения Севастьяныча в его уединении, прислал ему с барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки.

Уже смеркалось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того чтоб, по обыкновению своих собратий, взобраться на полати возле только что истопленной и жарко истопленной печи, рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся остались одни кости, но только четверть штофа была опорожнена; он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина, — и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее посмотреть без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памя-

ти подъячего с приписью, — в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать, — за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земский суд в своих действиях; что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги; что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника, и заседателей и заставлял всех жителей околотка прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он останавливался на тех страницах, где частию рукою его покойного батюшки и частию его собственною были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы, как-то: *не, а, и* и проч., и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.

Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела на границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще:

составить ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписания, — везде и на все Севастьяныч; с улыбкою вспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать в любую сторону; он вспоминал, как еще недавно таким невинным способом он спас одного своего благоприятеля: этот благоприятель сделал какое-то дельце, за которое он мог бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск, — но при сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех одного грамотного молодца с руки его благоприятелю; по словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестясь, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» — да так скоро начал перебирать их, что, пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготовляясь к ответу, — он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестясь, их единогласное показание. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел вплести в это дело человек до пятидесяти, начет разложить на всю братию, а потом всех и подвести под милостивый манифест. Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского

суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель; что им одним держится древняя слава Реженского уезда, — и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали — как будто из облаков — мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на занесенные метелью окошки; подумал о трехстах верстах, отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа — и мысли его сделались гораздо веселее: ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком; бутылки с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкаф с посудой и между нею в середине на почетном месте хрустальная на фарфоровом блюде перешница; вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный крупичатый каравай; вот телка, откормленная к Святкам, смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему; вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, а в холстинке кожаный книжник, а в книжке серенькие бумажки; — тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности: ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме; как часто

он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте, — он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был высечен и в отместку оскорбил своего учителя в самую Страстную пятницу, потом представлялось ему: как наконец он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал Апостол в приходской церкви, начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора, в коем и до днесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как заслушиваются его, когда он под вечерок, в веселый час, примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим, — неумолкаемые гусли, да и только! — и Севастьяныч начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку — у того рука прочь, кого за голову — у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский такой остров есть, который, как описывает Коробейников, изобилен

деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрягать их в сани; тут начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков, приезжавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками, и которым, кажется, должно было знать, что в их земле делается, — зачем они взяли город Трои, — как именно пишет Коробейников, — а Царьград уступили туркам, и никакого толку от этого народа не мог добиться: что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие; пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники, и Гнилое море, и процессия погребения кота, и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные, и птица Строфокадил, вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...

Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него:

— Батюшка, Иван Севастьяныч! я к вам с покорнейшею просьбою.

Эти слова напомнили Севастьянычу его ролю приказного, и он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:

– Что вам угодно?

– Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела.

– Та-ак-с.

– Так изволите видеть – это тело мое.

– Та-ак-с.

– Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?

– Та-ак-с.

– А уж на благодарность мою надейтесь...

– Та-ак-с. – Что же покойник-та, крепостной, что ли, ваш был?..

– Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, это тело мое, собственное мое...

– Та-ак-с.

– Вы можете себе вообразить, каково мне без тела. Сделайте одолжение, помогите поскорее.

– Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это дело сделать, – ведь оно не блин, кругом пальца не обернешь; справки надобно навести, кабы подмазать немного...

– Да уж в этом не сомневайтесь, – выдайте лишь только мое тело, а то я и пятидесяти рублей не пожалею...

При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя никого, сказал:

– Да войдите сюда, что на морозе стоять.

– Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою.

Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но, не видя ничего, пробормотал:

– Тьфу, к черту! – да что я, ослеп, что ли? – я вас не вижу, сударь.

– Ничего нет мудреного! как же вам меня видеть без тела?

– Я, право, в толк не войду вашей речи, дайте хоть взглянуть на себя.

– Извольте, я могу вам показаться на минуту... только мне это очень трудно...

И при сих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал, – хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...

– Извините-с, – между тем говорил голос, – сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться! Сделайте милость, отдайте его мне поскорее, – говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.

– Рад вам служить, сударь, но, право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?..

– Помилуйте, какая просьба? как мне было без тела ее написать? уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.

– Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что я тут ни черта не понимаю...

– Уж пишите только, – я вам буду сказывать.

Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.

– Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?

– Как же? Меня зовут Цвеерлей-Джон-Луи.

– Чин ваш, сударь?

– Иностранец.

И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами: «В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснение».

– Что ж далее?

– Извольте только писать, я уж вам буду сказывать; пишите: имею я...

– Недвижимое имение, что ли? – спросил Севастьяныч.

– Нет-с: имею я несчастную слабость...

– К крепким напиткам, что ли? о, это весьма непохвально...

– Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из моего тела...

– Кой черт! – вскричал Севастьяныч, кинув перо, – да вы меня морочите, сударь!

– Уверяю вас, что говорю сущую правду, пишите, только знайте: пятьдесят рублей вам за одну просьбу да пятьдесят еще, когда выхлопочете дело...

И Севастьяныч снова принялся за перо.

«Сего 20 октября ехал я в кибитке, по своей надобности, по реженскому тракту, на одной подводе, и как на дворе было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны...»

– Нет, уж на этом извините, – возразил Севастьяныч, – этого написать никак нельзя, это личность, а личности в просьбах помещать указами запрещено...

– По мне, пожалуй; ну, так просто: на дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и, по своей обыкновенной привычке, выскочил из моего тела...

– Помилуйте! – вскричал Севастьяныч.

– Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли?

– Та-ак-с, – отвечал Севастьяныч, – что ж далее?

– Извольте писать: выскочил из моего тела, уклад его хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно не выпало... связал у него руки вожжами и отправился на станцию... в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор...

– Должно признаться, – заметил Севастьяныч, – что вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.

– Приехавши на станцию, я взлез на печку отогреть душу... и когда, по расчислению моему... лошадь должна была возвратиться на постоялый двор... я вышел ее проведать, но, однако же, во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались... На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку... но уже и там ее не было... по-

лагаю, что бездыханное тело мое от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжавшим исправником, а лошадь уплелась за обозами... После трехнедельного тщетного искания я, уведомившись ныне о объявлении Реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела... покорнейше прошу оное мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу... при чем присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеописанный суд сделать распоряжение... оное тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло... если же от случившегося падения есть в том часто упоминаемом теле какой-либо изъян... или оное от морозу где-либо попортилось... то оное чрез уездного лекаря приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить, как законы повелевают, в чем и подписуюсь...

– Ну, извольте же подписывать, – сказал Севастьяныч, окончивши бумагу.

– Подписывать! легко сказать! говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету – они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неимением рук...

– Нет! извините, – возразил Севастьяныч, – эдакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...

– Как заблагорассудите! по мне все равно.

И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губерн-

ский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку приложил».

– Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили, – не можете себе вообразить, как неловко быть без тела!., а я сбегаю куда повидаться с женою... будьте уверены, что я уже вас не обижу...

– Постойте, постойте, ваше благородие! – вскричал Севастьяныч, – в просьбе противоречие... Как же вы без рук уклались... или уклали в кибитке свое тело?... Тьфу к черту, ничего не понимаю.

Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал...

Когда он проснулся, ночник погас и утренний свет пробивался сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадою взглянул он на пустой штоф, пред ним стоявший... эта досада выбила у него из головы ночное происшествие; он забрал свои бумаги не посмотря и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться.

Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян...

– Ну, брат Севастьяныч, – вскричал он, прочитав ее, – ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесную нагородил... Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич, – прибавил он, обращаясь к уездному лекарю, – вот нам какого про-

сителя Севастьяныч предоставил. – И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху.

– Пойдемте-ка, господа, – сказал он наконец, – вскроемте это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его подобру-поздорову, в город пора.

Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и сурьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.

Само собою разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили.

После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали, читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая.

Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием⁶, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича

⁶ Бистурий, или бистури (*фр. bistouri*) – хирургический нож.

изо всех сил: «Лови, лови покойника!»

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? когда вы мне его выдадите?» – и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет двадцать.

Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко (Классическая повесть)

*Il n'est point serpent, ni de monstre odieux,
Qui par Tart imite, ne puisse plaire aux yeux.*
Boileau

*Змеи, чудовища, все гнусные создания Плениют
часто нас в искусствах подражания.*
Перевод графа Хвостова

«...Что касается до меня, — сказал мне один из любезных молодых людей, — то все ваши несчастья — ничто перед моими. Великая важность, что вы попали в словарь! Сколько млекопитающихся желали бы добиться этой чести. Мне так, напротив, здесь очень хорошо: я так пообтерся о печатные листы, что, сказать без самолюбия, я никак не променяю теперешнего моего образа на прежний. Не будь я сказкою, я бы ввек не понял, что со мною случилось; теперь, по крайней мере, волею-неволею я должен ясно понимать все обстоятельства моей жизни, быть готовым каждому отдать в ней отчет, а это, право, не безделица. Вы горюете, господа, о том, что попались в словарь! Что бы сказали, когда б, подобно

мне, вы попались в стеклянную банку и подвергнулись бы опасности быть съедену собственным вашим родителем? Не удивляйтесь, господа, я рассказываю сушную правду.

Но прежде, нежели я приступлю к повествованию, я должен изъяснить вам мое недоумение о предмете, которого я и до сих пор не постигаю: зачем вы, господа человеки, терпите посреди себя злодеев, которые только и дела делают, что снимают черепа, разбирают мозг, растягивают сердце на булавочках, обрывают ноги, – злодеи, которых вы называете природонаблюдателями, естествоиспытателями, энтомологами и проч. т. п. Зачем эти господа? Зачем их холодные преступления? На какую пользу? Я до сих пор этого постичь не могу.

Вы улыбаетесь – вы как будто хотите сказать, что я не пойму ваших объяснений. Так и быть – я и на то согласен...

Слушайте ж:

Я происхожу от рода древнего и знаменитого Арахнидов или Аранеидов, ибо до сих пор наши летописцы спорят о нашем наименовании. Существует предание, что мы род свой ведем от крокодилов; египетские гиероглифы, где нас или наших единоплеменников изображают вместе с нашими праотцами и творения Элиана, могут служить вам в том порукою; вообще мы играли важную ролю в древности: знаменитая Лидийская жена, гонимая Минервою, приняла наш образ; Аристотель описывал наши древние битвы с ящерицами; Демокрит уверял, что мы употребляем наши сети,

как дикобраз свои иглы; Плиний свидетельствовал, что достаточно двух насекомых, находящихся в нашей внутренности, для того чтобы истребить человека прежде его рождения, и такова наша важность в природе, что над нашими колыбелями долго спорили ученые, называть ли их *nymphae oviformes*!

Семейство наше принадлежит к славной фамилии Ктенизов, и отец мой назывался *Ликос* – слово, которого высокое значение вы должны понять, если знаете по-гречески. Для наших обиталищ мы роем в земле глубокие пещеры; ко входу укрепляем камни и дерево, которые гордо поворачиваются на своих веревках, – от нас люди заняли то, что они называют дверями. Сверх того, говоря красноречивыми устами наших биографов, природа дала нам: два четырехсоставные кусательные острия, челюсти зубчатые, снабженные когтиком, но что всего важнее, одарила нас проворством, хитростью, силою мышц и неукротимую храбрость. Увы! может быть, в ней она положила зародыш и нашего злополучия!

С самых юных лет я боялся отца моего; его грозный вид, его жестокосердие устрашали меня; каждый взгляд его, казалось, грозил мне гибелью; матери моей давно уже не было; все братья мои стали жертвою его естественной лютости; уцелел один я, ибо мне удалось убежать из отеческого дома; я скрылся среди диких дебрей моей отчизны и часто, среди густых кустарников, с трепетом смотрел, как отец мой раскидывал сети пернатым, с каким искусством он заманивал

их или с какою жадностию истреблял себе подобных. Между тем мне надобно было помыслить о своем пропитании; я решился, по примеру отца, сделаться охотником, расставлять сети; природа помогла мне: слабыми мышцами я натянул верви, притаился, и мне посчастливилось; пернатые, хотя изредка, но попадались ко мне; я питался ими. Так протекло долгое время, несколько уже раз светлое теплое лето уступало место мрачной, холодной зиме и снова явилось и согревало мое жилище; я возмужал; пламенные страсти начали волновать меня, и я стал искать себе подруги. Природа, моя руководительница, совершила мое желание; я нашел подругу; взаимная любовь укрепила связь нашу; мы быстро пробегали с нею высокие скалы, на легких вервях спускались в пропасти, вместе расставляли сети, вместе ловили пернатых и весело разделяли последнюю каплю росы, посылаемой небом; вскоре я увидел необходимость увеличить мое жилище, далее раскидывать сети: уже подруга моя чувствовала себя беременною, она уже боялась оставлять свое жилище, и я один должен был доставлять ей пищу; с какою радостию ходил я на охоту; природная ловкость и хитрость, казалось, во мне увеличились; я презирал опасности, смело нападал на врагов наших, и во время зимы, когда небо темно и когда тягостный сон налагал цепи на всех обитателей моей отчизны, я в темном гнезде благословлял Природу. Но увы! недолго продолжалось это блаженство. Скоро наступили тяжкие времена! Молва о могуществе и лютости отца мо-

его ежедневно увеличивалась; уже почти все соседи мои или сделались его жертвою, или оставили родину; каждый день владения отца моего распространялись; от природы быстрый и сильный, он взлезал на высокие скалы, внимательным глазом осматривал все окружающее и как молния ниспадал на свою добычу. Уже отец мой приближался к моему жилищу; уже часто сети отца моего касались моих сетей и стопы его потрясали мое убежище. Я в ужасе не оставлял ни на минуту моей подруги: к счастью, отец еще не заметил ее; но, к величайшему моему прискорбию, часто он выхватывал добычу, попавшуюся в мои сети, и вместо прежней обильной пищи я принужден был разделять лишь голод с моею подругою. Еще я скрывал от нее весь ужас нашей участи; терпеливо сносил, когда она упрекала меня в бездействии, когда умоляла меня утолить ее голод; но, наконец, силы ее стали истощеваться; бледность начала разливаться по ней, все мышцы ее пришли в оцепенение... в грусти я вышел из моего жилища – вижу: сеть шевелится, еще – уже в мыслях ловлю добычу, несу к моей возлюбленной, утоляю и ее, и свой голод... таюсь, быстро бросаюсь к своей цели... что же? отец пожирает добычу, мне принадлежащую! Отчаяние овладело мною; в порыве мщения я решился сразиться с врагом моим, несмотря на превосходство его силы, но в ту минуту мысль о подруге – необходимой жертве врага после моей гибели, эта мысль поразила меня; я удержал себя и скрепя сердце смотрел, как отец мой утолил свой голод, изорвал сеть, мною

раскинутую, и гордый, спокойный возвратился в свои владения. Между тем новые намерения родились в голове моей.

Близ нашей родины находилась ужасная пропасть; границы ее терялись в отдалении, и глубины ее никто еще не решился измерить; видно однако же было, что огромные камни покрывали дно ее, и мутный источник шумел между ними; некоторые смельчаки решались спускаться в сию пропасть, но все они пропали без вести, и носилась молва, что их всех унес поток в своем стремлении. Несмотря на то, один из моих соседей, по природе любивший путешествовать, рассказывал мне, что за этою пропастью есть не только страны, подобные нашей, но что близко их есть еще другие, совсем от наших отличные, где царствует вечное лето и где дичи так много, что сетей почти не для чего раскидывать. До сих пор я считал рассказы моего соседа баснею и совсем было забыл о них; но в сию минуту они пришли мне в голову; что же, подумал я, везде гибель неминуемая: или будем жертвою гневного врага, или умрем с голода — это верно; страшно и неизвестное — но в нем есть всегда какой-то призрак надежды, испытаяем! Сказано — сделано; я прицепил легкую вервь к вершине скалы и принялся спускаться; скоро достиг я другой скалы, которая служила подножием первой, и к ней также прицепил веревку, потом к третьей; наконец, уже не было скал подмною, я качался между небом и землею и, несмотря на подымавшийся ветер, любопытным взором осматривал все, меня окружающее; уже близко был я к земле; видел, как водяное

море протекало между морем камней, и заметил, что в одном месте удобно было переправиться чрез него на другую сторону, где, как мне казалось, зеленелись такие же роскошные стремнины, как и в моей родине. Надежда моя возросла, и радость взволновала сердце, как вдруг веревка моя сильно закачалась, это удивило меня, быстро поднялся я наверх и что же увидел? — отец мой гнался за моей подругой; в мое отсутствие он заметил ее, вспылал к ней преступною страстию! Несчастливая собрала последние силы и, увидев веревку, опущенную в пропасть, решилась по ней спуститься; я поспешил ей помочь, уже мы были на половине пути, как вдруг дунул порывистый ветер, вервь оборвалась, и я очутился в бурном потоке; к счастью, берег был близко, и я, несмотря на ослабевшие мои силы, выбрался на сушу; минута собственной опасности заставила меня позабыть о моей подруге — эта минута прошла, грусть и недоумение сжали мое сердце. Где найти мою подругу, где найти мое пепелище? Между тем вдруг солнце затмилось, гляжу: две — не знаю, как назвать, — две движущиеся горы надо мною; небольшие рытвины, расположенные полукружием, покрывали их, и во внутренности с шумом переливалась какая-то красноватая жидкость; они приближаются, я слышу мерные удары какого-то молота, на меня пашет жар, отличный от солнечного; я сжат между двумя горами; не знаю, что было со мною в эту минуту, ибо я потерял чувства; когда же опомнился, то увидел себя в каком-то странном жилище, которого великолепие тщетно

я бы хотел изобразить вам.

Вокруг меня были блестящие, прозрачные стены; в первую минуту мне показалось, что то были слившиеся капли росы; но они составлены были частию из кристалльных колонн, самых разнообразных, частию из шаров, наполненных воздухом, но столь плотно и искусно сжатых, что между ними едва заметны были отверстия; вскоре солнце осветило мое жилище; тьмочисленные краски заиграли на кристаллах; переливались радужные цветы и, отражаясь на поверхности моего тела, беспрестанно производили во мне новые, разнообразные, сладкие ощущения! Как описать это величественное зрелище! Еще прежде я любил смотреть, когда солнце порождало цветы на каплях росы, но никогда я не мог вообразить, чтобы лучей его достало украсить столь обширное жилище, какова была моя темница.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.